



Пролог



— Так-с, — подошел начальник милиции к взрытой могиле, которую окружали несколько монахов, архиерей и профессор Грених, поглядел на нее: пристально, сощурясь, запрокинул голову, придерживая фуражку, посмотрел в небеса — может, господа о чем-то вопрошал, может, проверял, кончился ли дождь. Но тот продолжал неистово закидывать землю длинными, как серпантин, струями, стучал по надгробиям, медленными каплями стекал с крестов, сшибал последнюю жухлую листву с деревьев.

— Где Кошелев? — спросил он, вернувшись взглядом к белому пятну газета, проглядывающего сквозь комья мокрой глины и переломанные, напитавшиеся влагой доски крышки гроба. Над ними опасно покосился временный крест с табличкой: «Кошелев Карл Эдуардович 1890—1925».

Ему не ответили.

Он сделал пол-оборота вправо, пол-оборота влево, поглядел на монахов, на профессора.

— Где же Карл Эдуардович? Все-таки восстал из мертвых, так это понимать?

Грених откашлялся. Кто-то должен был внести ясность в происходящее, по крайней мере, для милиции.

— Когда мы явились с отцом Михаилом и Асей сегодня в семь тридцать утра, — стал давать отчет профессор, — обнаружили Карла Эдуардовича наполовину вылезшим из могилы, а монаха убитым ударом тяжелым предметом в голову. За землей было не разглядеть, каким образом покойный проломил крышку гроба. Но кажется странным, что он принялся ее ломать. Зачем? Крышка не забита гвоздями и землей слегка припорошена, достаточно ее просто сдвинуть. Хотя я не уверен в том, сколь сильно давила земля. Я при погребении, товарищ Плясовских, не присутствовал.

Плясовских присел рядом с могилой на корточки и, подтянув рукав бекешки к локтю, принялся расчищать землю вокруг гроба. Это было не столь просто: приходилось возить рукой по размякшей земле, тотчас сотворенные канавки наполнялись мутной водой. Пальцами он ощупывал края.

— Гвоздей нет.

— Гвоздей и не было, — глухо отозвался отец Михаил, стоящий в стороне неподвижным черным столбом в своем легком подрячнике.

— Далее. В руке у Кошелева был зажат вон тот камень, — Грених указал на кусок мрамора, отвалившийся от соседнего склепа.

— Он им монаха приложил? — Плясовских поддел носком сапога вещественное доказательство. Камень был мокрый, кровь почти всю смыло.

— Тоже не представляю как, — Грених пожал плечами.

Плясовских покосился недобро, и профессор не стал дальше развивать мысль, что вылезшему из могилы было бы несподручно убивать монаха ударом камня в затылок. Разве что только тот сидел, откинувшись спиной на крест, и спал, а Кошелев пробил кулаками доски, вылез наполовину, дотянулся до камня и ударил им в затылок спящего монаха. Это как крепко спать надо было, чтобы не заметить за спиной встающего из могилы мертвеца?

Но Грених ничего этого вслух не сказал. Отчасти потому, что по-прежнему был уверен, что Кошелев мертв и не мог самостоятельно подняться, отчасти потому, что привык не болтать лишнего, а лишь давать сухую медицинскую справку.

Но в мыслях все вертелись разного рода версии. Его кто-то уволок, вот и все. Перед глазами стояло белесое тело на каменном столе ледника. Тело с синюшной кожей, с трупными пятнами на лопатках. Нет, эти изменения необратимы. Кошелев был мертв!

Невольно Грених посмотрел на отца Михаила, глядящего перед собой с мертвенно-белым лицом. Вот уж кто влип по самые уши, так это архиерей. Если молва о сбежавшем покойнике разнесется по округе, его низложат и из уезда погонят вон. Похоронил живого человека! Прежде не разобралшись, мертв тот или нет. А какая почва будет для досужих толков и антирелигиозной агитации. Понарисуют плакатов, понапечатают статей о том, как поп живых хоронит.

— Что ж, — за него ответил начальник милиции, — надо ж найти беглеца. Далеко он не убег. Малявин, беги в Тоньшалово, проси дружинников, ну хоть пятерых, и обратно. Скажи, тут чрезвычайное происшествие. Я лично отчитаюсь... потом.

Начальник перевел дыхание, нервно почесав переносицу.

— Беяев, а ты — в город. Обойди все дома, питейные заведения, товарищества, кооперативы, лавки, в редакцию газеты не забудь зайти. Но Зимину ничего пока не говори, а то опять он мне поэму настроит и пустит ее по всему городу. Никому пока ничего не сообщайте. Перво-наперво надо Кошелева сыскать. Потом уже будем думы думать, как с ним быть. В губисполком эта история попасть не должна.

Глава 1.

Никогда не говорите с неизвестными на кладбище



Шаткий, сколоченный еще до революции дилижанс жестко подскакивал на кочках, раскачивался из стороны в сторону. В Москве на улицах вовсю гремели трамваи, шныряли автобусы, грузовички «Форды», таксомоторы, а здесь — десятка два верст от Белозерска — все еще царил девятнадцатый век и не было даже железной дороги.

— Я сама себе хозяйка и хочу снять эту уродливую шапку.

Девочка десяти лет сидела в теплом пальто с котиковым воротником, из-под него торчали штанишки с манжетами под коленками, на ногах высокие плотные ботинки и теплые вязаные гетры, на голове фуражка с ярко-красным помпоном, а из кармана выглядывала рогатка. Грених закрыл глаза, отчаянно соображая: *как*, как сносить выходки маленькой проказницы, какой курс взять в воспитании вновь обретенной дочери, как уследить за всеми ее попытками набедокурить при любом удобном случае?

Увидеть Майю, или как ее прозвали в детдоме — Майка, Константину Федоровичу Грениху довелось лишь какую-то неделю назад, а уже знакомство это обещало перерасти в настоящую вражду.

Первым, чему он поразился, был даже не ядовито-колючий нрав девочки, а ее чрезвычайное внешнее сходство с ним: угловатость, неаккуратно стриженные и спутанные волосы, большие темные глаза, какое-то тяжелое, недовольное выражение лица, совершенно несвойственное детям ее возраста, — он будто увидел маленького себя в зеркале родительской квартиры. Отстраненного, высокомерного, вообразившего, что постиг все земные науки в свои жалкие десять. Может, он и сам был таким, может, угрюмый вид ему придавала врожденная гетерохромия: один глаз карий, другой — зеленый. Это не казалось заметным, пока Грених не начинал сердиться, тогда карий глаз темнел, и вид он приобретал будто косящий, ослабившийся волк.

Взгляд Майки не нуждался в дефекте, он без того хранил хищный, отталкивающий оттенок. Он был не просто надменный, а мстительный, не кислый, но скорее, злобный, не с нарочитой мрачностью и отстраненностью, какую еще мальчиком Грених любил на себя напускать, а почти свирепый. Как у маленького загнанного зверька, готового продать свою шкуру дороже.

Тонкий носик, впрочем, ей достался от покойной жены, но девочка успела сломать носовую перегородку — еще не спал отек под глазами, придававший ей вид тем более дикий. Может, упала с дерева, или кто не стерпел обидных слов в свой адрес. А на язык проказница была остра, за словом в карман не лезла. Через слово брань, какая-то деревенская чушь о леших, или лозунг с пионерского плаката — ими густо были увешаны стены детского дома, в котором она провела три последних года.

Только потом он понял, что упрямством, нелюбимостью и болезненным самолюбием Майка пошла в него в еще большей степени, нежели даже лицом. Майка была слишком Грених, чтобы это не напомнило Константину Федоровичу о фамильном древе. Покойные дед — вращ с большой част-

ной практикой, ветеран Русско-турецкой войны, отец — ординарный профессор кафедры психиатрии Московского медицинского университета, мать, презревшая насмешки общества и отправившаяся слушать лекции Фрейда в Венский университет, старший брат, наделенный большим умом, мечтавший открыть психиатрическую больницу, которая не уступала бы клинике Шарко в Сальпетриере, но имевший несчастье родиться психически нездоровым...

Октябрьская революция смела с лица земли все, что Грениху было дорого. Отец застрелился, брат бежал из палаты буйных, жена, погибшая в поезде по дороге между Вологдой и Белозерском, покоилась где-то на кладбище в Череповецкой губернии. Двухлетняя дочь же была извлечена из разграбленного поезда становым приставом, который, быстро уразумев, что полицию старого режима не жалуют, пошел в сотрудики милиции Временного правительства, а потом и в охранную дружину уезда.

До семи лет жизнь Майки была нелегкой. Она росла почти беспризорником, выживая в пригороде Белозерска и близлежащих деревнях, кочуя вместе с бывшим становым, исполнявшим обязанности старшего милиционера, пока Деткомиссия ВЦИК не определила ее в сиротское учреждение и не принялась искать родственников. Взятый из жалости на воспитание девочку запомнил только ее имя и фамилию.

Грених нашел ее в Кирилло-Белозерском монастыре, где с успехом сосуществовали детский приют, Окружной Череповецкий музей, коммунальные квартиры и зернохранилище.

Когда явились забирать Майку, за нее радовался весь детдом. Но сама Майка отказалась даже видеть отца, заявив, что ее настоящие родители — леший и колдунья, а сама она готовится вступить в отряд юных пионеров. Но под натиском воспитательниц все же дала смотринам состояться. При виде высокого, худого и угрюмого дядьки с черной шевелурой, падающей на глаза, одетого в видавший виды английский воен-

ный тренкот бутылочного цвета, она скрестила руки на груди, окатила того ледящим взглядом и молча поджала губы.

Напрасно ее пытались усовестить воспитательницы, готовые пойти на все, лишь бы избавиться от лишнего рта в приюте, напрасно рассказывали, что ее родитель — профессор и судебный работник из Москвы. Она не пожелала никуда с ним ехать. И с большим трудом дала себя переодеть в новенький костюмчик, который привез Грених. Он совершенно не знал, что носят маленькие десятилетние девочки, и, будучи в магазине готового платья, перепутал девчачью одежду с мальчишечьей, а пальто выбрал на два размера больше.

Майка вышла за ворота, нахохлившись, как воробей, скрестив руки на груди. Шла за отцом с неохотой, отойдя от него на несколько шагов, то и дело останавливаясь и злобно косясь. Грениху пришлось смириться и приготовиться к длительной и изнуряющей поездке, наполненной ворчанием, демонстрацией отсутствия воспитания и нарочитой дикости.

В дилижансе Майка отказалась сесть рядом, шлепнулась на скамейку напротив и, скрестив руки на груди, зло поглядывала из-под совершенно не шедшей ее угрюмому лицу белой фуражки с синими лентами и красным помпоном. Щеки ее горели алым и, того и гляди, готовы были лопнуть — надула их, как два больших мыльных пузыря. Когда она злилась, синева под глазами становилась еще явственней. Манерами Майка походила на дворового мальчишку. В дороге она не поменяла перекрестия рук, непрерывно на все лады фырчала и нервно отстукивала недовольный такт подошвами ботинок, уже где-то перепачканных в грязи, ни на минуту не прекращая этот барабанный бой протеста. Не знавший, куда себя деть, и сгоравший от стыда Грених просто закрыл глаза и притворился, что спит.

Были времена, когда и он, скрестив на груди руки и почти вот так же отстукивая башмаком барабанную дробь, сидел против собственного отца, отстаивая сквозь сжатые зубы

право идти прозектором, называть себя либералом, желание вступить в «Союз освобождения» и посещать марксистские кружки...

Через полчаса пути, осознав, что тихим ворчанием своего не добиться, Майка наконец выдавила:

— Я хочу снять эту уродливую шапку. Так пионеры не ряжутся! Это что за буржуйская панама?

И не стала дожидаться разрешения, сорвала головной убор с макушки одним лихим махом, бросив его к ногам отца. Короткие волосы ее, потревоженные неаккуратным движением, взметнулись иглами. Теперь она совсем стала похожа на сорванца. Пассажиры тотчас вскинули на нее взгляды.

— Ах, чудо девчушка! — озорно подмигнула Майке совсем юная барышня в синей косынке, повязанной назади, как у Лили Брик с плаката «Покупайте книги Ленгиза».

— После болезни, что ли, одичала? Из больницы путь держите? Сыпняк был? — спросила дородная женщина в телогрейке и цветастом платке с длинной бахромой. В ее ногах стояла корзина, полная поздних яблок, накрытая тряпкой. Улыбнувшись, она протянула одно Майке и похвасталась, что в этом году в совхозе «Прометей» большой урожай райки. Девочка выпрямилась и неожиданно вежливо поблагодарила женщину, назвав ее гражданкой.

— Да какая же это девчушка, — подал голос сухой гражданин в теплой бархатной толстовке, подпоясанной черным армейским ремнем, шинель он сбросил на колени. Он был разбужен, но смотрел без злобы. — Настоящий сорванец, вон рогатка какая из кармана торчит.

Майка прищурилась, тотчас вскинула руку к деревянному оружию, проверяя, на месте ли оно.

Константин Федорович наблюдал за дочерью одним глазом: за тем, как она на миг выпрямилась, принимая в дар яблоко, качнула головой чуть ли не по-гимназически, как потом схватилась за рогатку, будто американский ковбой.

Пассажиры продолжали свое незатейливое общение с девочкой, но та на вопросы их не отвечала, дичилась или говорила отрывисто. В разговоре не участвовала только прямая дама средних лет в пальто с фалдами и беретом на одно ухо — похоже, артистка, непонятно что забывшая в такой глуши. Черты ее лица были словно выписаны заново поверх белил и застыли неподвижной маской — казалось, она боялась не только улыбаться, но и говорить.

Дилижанс ехал лесом, дорога стала совсем узкой, кочки встречались чаще. Колеса тяжело переваливались через проступающие под почвой корни высоких елей. Пахло прелой листвой и хвоей. Грених опять закрыл глаза, стараясь думать о лесных запахах, — в Москве теперь пахло бензином, прогорклым маслом и пылью. В голову упрямо лезло воспоминание о том злосчастном апрельском утре 18-го, когда в передней родительской квартиры на Мясницкой раздался оглушительный грохот.

— Иди же, — вскричал тогда отец, а жена с маленькой Майсей на руках шархнулась в угол. — Иди же, открывай своим соратникам, товарищам по оружию, идейным братьям! Вот за это ты сражался, иуда! За это переметнулся в Красную гвардию. Нет у меня больше сына.

До сих пор Грених помнит толпу в черных, раздобытых где-то на военных складах, армейских кожаных куртках, с «наганами» и оступелыми, жадными лицами, помнит свое ледяное равнодушие, с которым посторонился, впуская лаковые фигуры в переднюю. Помнит выстрел из кабинета отца и как рухнули все его идеалы, рассеялись, точно дым, убеждения и вера в свободу и цивилизацию будущего.

Они именовали себя членами «чрезвычайной комиссии по борьбе со спекуляцией», а на деле были анархистами и простыми разбойниками, воспользовавшимися хаосом и считавшими, будто имеют полное право брать все, что захотят, объясняя это наступлением новых времен всеобщего ра-

венства. Он и бумаг не стал читать, которые ему сунули под нос, сжал челюсти, в ушах звенел выстрел. Грених не смотрел на жену с ребенком, не бросился в кабинет — спасать отца было бессмысленно, тот знал, как правильно пустить пулю в висок, чтобы наверняка. Лишь сделал нарочитый приглашающий жест, вызвавший довольную улыбку на еще юном, молодцеватом лице комиссара ревкома.

В кабинете отца, равнодушно глянув на его бездыханный труп, распростертый в кресле, черные фигуры лишь выдернули из его мертвой руки «браунинг» и принялись под неумолчный детский плач выносить мебель, выворачивать ящики в поисках золота и оружия, ссыпать на ковер медицинские книги, чтобы было чем топить буржуйку. Дедовскую винтовку Ижевского оружейного завода 1870 года комиссар тотчас присвоил себе, предварительно взвесив ее сначала в левой, потом в правой руке, потянул затвор, заглянув в патронник.

В городе перестреляли всех городских, несколько месяцев царили хаос, голод, холод и анархия, по улицам шныряли банды солдат, во имя революции «реквизировавшие» оружие, в уплату контрибуций — серебро, картины. Этому невозможно было помешать.

Лишь спустя год выяснилось, что к большевикам эти люди не имели никакого отношения, а ордер, с которым они явились, был филькиной грамотой. И таких погромов были сотни, тысячи...

Разграбленная квартира все это время пустовала и даже некоторое время, пока не назначили управдома, служила прибежищем бездомных. Он не знал, чему и во что верить, успел посадить жену с ребенком на поезд до Вологды, где их должен был встретить тесть, и чтобы самому себе доказать, что его дело — правое, вернулся в Красную армию рядовым. Потом расстрельный список, дни красного террора, морг Басманки.

— Я и ботинки сниму, ух, палец сдавили. — Грених вздрогнул, переносясь из прошлого в тряский дилижанс, и

несколько секунд недоуменно смотрел в лицо утрюмой девочки с перебитым носом. Чувство, что он смотрит на собственное отражение из далекого бесцветного прошлого, парализовало его.

— Можно, папенька, можно? — дразнилась она. Грених не слушал, опять приоткрыл только один глаз, наблюдал.

— Ну, можно, ну, можно, нуможнонуможно...

— Нет, потерпи до остановки, — выдавил он подхриповатым голосом человека, который редко раскрывает рот. Сделал усилие, заставил себя улыбнуться, нагнулся, поднял фуражку.

Майка сверкнула исподлобья глазами, посерела лицом. Губы вытянулись в трубочку.

— Да провались эта телега сквозь землю! — И так топнула ногой, что транспорт сотрясло, будто от удара гигантским молотом по крыше. Пассажиры разом охнули, вскинули руки в отчаянной попытке схватиться за неподвижную опору. Но рядом, кроме соседей, никого не было — все сидели локоть к локтю, поэтому хватались друг за друга. Дилижанс встал, сильно накренившись. Грених схватился рукой за раму окна, но все равно упал на одно колено, с головы соскользнула шляпа, в спину влетела дородная тетка в телогрейке, по полу покатился румяный урожай совхоза «Прометей», какие-то инструменты, вещи, выпала из картонки шляпка с ядовито-изумрудным пером, за которой с визгом кинулась артистка.

Почти тотчас же ворвался возчик в картузе набекрень.

— Никто не зашибся, граждане? — задыхаясь, выпалил он и, как глухонемой, отчаянно замахал руками, пытаясь начать объяснение. — К-колесо, к ч-чертям, в яму, четыре ступицы слетело. Наладить сразу — никак. За мастером в Белозерск надобно.

Грених медленно вернул шляпу на голову и отправил Майке укоризненный взгляд. Та залихватски усмехнулась, по-